

НАТАЛЬЯ ШНЕЙДЕР



ПРЯНИЧНАЯ
ЛАВКА

ХОЗЯЙКА

ПРЯНИЧНОЙ ЛАВКИ 3

Пряники

Наталья Шнейдер

Хозяйка пряничной лавки – 3

«Автор»

2026

Шнейдер Н.

Хозяйка пряничной лавки – 3 / Н. Шнейдер — «Автор»,
2026 — (Пряники)

Брошенная мужем дочь преступника должна была тихо угаснуть. Но на ее месте теперь я. Пусть муж грозит скандальным разводом, суровый постоялец смотрит свысока, а за душой ни гроша. Я построю новую жизнь. Из пряников. И не позволю ни бывшему, ни будущему встать у меня на пути!

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	18
Глава 4	26
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Наталья Шнейдер

Хозяйка пряничной лавки – 3

Глава 1

1.1

Самовар на сундуке тихо вздохнул, будто ему, в отличие от некоторых, было что сказать. За окном кто-то прошел, тень скользнула за стеклом и исчезла. Лавка снова стала слишком пустой, слишком теплой и почему-то слишком тесной.

Я ждала продолжения.

Громов, разумеется, продолжать не спешил. Сидел напротив, сцепив пальцы, прямой, сухой, застегнутый вместе с душой и совестью на все пуговицы. Только взгляд у него был не канцелярский, и это раздражало сильнее всего.

Потому что смотрел он на меня так, будто сам только что услышал собственные слова и теперь не мог решить, кого следует придушить за них первым: себя, меня или государыню императрицу с ее манифестом, из-за которого все и началось.

С чего ему вообще взбрело в голову рассказывать мне о новом законе? Пришла бы в управу после Солнцеворота и влетела бы мордой в новые пошрины. Экая важность в масштабах мировой революции. Нет же, решил предупредить заранее. Как будто ему не все равно.

Как будто я поверю в это «не все равно».

Я налила чай себе, чтобы занять руки. Громову, чтобы заполнить паузу. Я ждала. Сейчас он скажет еще что-нибудь. Разложит по пунктам, как раскладывал манифест: резон первый, резон второй, выгоды, риски.

Он молчал, глядя на меня через стол спокойно и прямо. Я не выдержала первой.

— Слушаю вас, Петр Алексеевич.

— Я все сказал. — Он поднес чашку к губам.

— «Странно» — и все? Не самый удачный способ объясниться.

— Я не намерен объясняться.

Полный и исчерпывающий ответ человека, у которого на любой вопрос имелись три формулировки и ссылка на статью закона.

Тишина давила. За окнами лавки стояла темнота. Никто не скрипел снегом, не заглядывал в стекла. Не слышно было девчонок на людской кухне и ворчания тетки. Словно мы были одни. По-настоящему одни. И при этой мысли почему-то захотелось спрятать глаза.

Дурдом.

Я поставила чашку, чтобы не видно было, как дрогнули руки.

— Мы уже обсуждали это. И вам известен мой ответ.

— Тогда мы говорили о вашей репутации. Сейчас — о вашем деле.

Если бы мы сидели не так близко, если бы между нами был настоящий стол, а не крышка сундука, я бы, может, не заметила, как сжались его пальцы на фарфоровой ручке.

— Я предлагаю вам законный способ его сохранить и возможность выбрать, что делать дальше, не ожидая, когда первый доброжелатель с гражданской совестью напишет на вас донос.

Я прикрыла глаза, заставив себя медленно вдохнуть и так же медленно выдохнуть.

— Петр Алексеевич, я по-прежнему не понимаю, с чего бы вам предлагать себя в качестве универсальной заплатки то для моей репутации, то для моего дела.

— Я не предлагаю себя в качестве заплатки.

— А в качестве чего?

Он снова замолчал. Взгляд задержался на моем лице, спустился к губам — нет, показалось, нечего себе льстить, — вернулся к глазам.

Щеки обожгло жаром, и я разозлилась окончательно.

На него. На себя. На эту дурацкую лавку с совершенно лишними сейчас окнами. На стол из крышки сундука и упаковки для чая, который с какого-то перепугу решил быть не столом, а жалкой деревянной условностью между мной и сильным красивым мужчиной.

Красивым, чтоб его. Господи, о чем я думаю!

— В качестве союза, — сказал Громов.

Я моргнула.

— Союза?

— Да. Союз предполагает две стороны, Дарья Захаровна.

— С равными правами?

— С вашими правами, прописанными так, чтобы их невозможно было обойти.

— Как у держав? С границами, контрибуциями и взаимным правом прохода войск?

Уголок его рта едва заметно приподнялся.

— Если вы на этом настаиваете, можно обойтись без прохода войск.

Да чтоб тебя!

Я вдруг слишком ясно увидела его руки. Большие, сильные, ухоженные, но не мягкие. Не руки человека, который всю жизнь только перекладывал бумаги. И совершенно некстати вспомнила, как эта рука держала мою, ведя перо. И как его дыхание касалось моего виска.

— Допустим. Допустим, я сошла с ума и рассматриваю ваше предложение всерьез. Вы не забыли одну мелочь, Петр Алексеевич? Я замужем.

— Препятствие временное, — отозвался он так быстро, словно ждал именно этого возражения. — Развод вы получите. Консистория рассматривает дела медленно, однако исход вашего предрешен.

Ну разумеется. Юридическую часть он отработал заранее. Наверняка и сроки прикинул, и пошлины посчитал.

— Хорошо. Меня разведут через полгода. Или через год. И что же, все это время ваше предложение будет лежать на леднике?

— Оно не протухнет.

Кажется, это была шутка. Каменюка пошутил — следовало свериться с календарем и записать дату. Хуже всего, что я едва не усмехнулась.

— Дело не в сроках. — Я подалась вперед, упираясь ладонями в столешницу. — Лавка, пряники, заказы — это мое. По-настоящему мое. Не батюшкино наследство, не имущество мужа. Я это придумала, я сообразила, как из отходов сделать конфетку... в смысле, пряник. Я месила тесто, я смогла сделать так, чтобы меня приняли, несмотря на... — Я вздохнула. — Несмотря на то, что вы устроили на пару с Ветровым. И теперь вы предлагаете чтобы мое дело накрылось вашей фамилией.

1.2

— Фамилия — вывеска, Дарья Захаровна. Дело останется вашим.

— Вывеска! — Я не удержалась от нервного смешка. — Петр Алексеевич, вы же сами растолковывали мне про раздельное имущество супругов. И вы сами предупреждали, что мой супруг может доставить мне неприятности, несмотря на это. Глупый, ленивый, самовлюбленный Ветров — мог создать мне проблемы и действительно их создал. Что говорить о вас в таком случае?

— И что же вы намерены сказать обо мне?

— Не напрашивайтесь на комплименты, — огрызнулась я. — Вы умны, Петр Алексеевич. Страшно, неудобно умны.

И самое паршивое — мне это нравилось. Пропади оно все пропадом!

— Вы знаете законы так, что способны вывернуть наизнанку любой и использовать по своему усмотрению. Если однажды вам понадобится моя лавка, мое имя или моя подпись, я узнаю об этом последней. Когда останусь ни с чем — и все будет оформлено безупречно.

— Вы полагаете, что я способен...

— Я не знаю, на что вы способны! — Получилось громче, чем хотелось. Я заставила себя понизить голос. — В этом все дело: я вас не знаю. Зато знаю, что вы поселились в моем доме не ради тишины и пряников. Вы ведь не забыли, зачем приехали в Большие Комары?

Громов застыл.

— Я — нет.

— Я помню ваши уроки грамоты. Прекрасные уроки: аз, буки, веда — и между делом расспросы, кто бывал у батюшки, с кем он водил дела, куда ездил. Я помню про поддельный чай, которым, по вашим словам, торговал мой отец. Вы смотрели на меня как на подозреваемую. Не трудитесь возражать, я не слепая и, надеюсь, не дура.

— Вы — далеко не дура, Дарья Захаровна.

— Так скажите мне, не-дуре: откуда мне знать, что ваше предложение — не продолжение того же казенного интереса? Что мне предлагают фамилию, а не надзор? Удобно ведь: фигурантка под боком, бумаги под рукой, и никуда не денется, потому что жена. А потом лишение всех прав состояния и...

— Есть за что? — приподнял бровь он.

— Был бы человек, а статья найдется.

Громов не шевелился. Лицо его выглядело прежним — ровным, закрытым. Только руки медленно опустили на блюдце чашку, но пальцы остались сжатыми на ручке.

Я ждала, что он скажет хоть что-нибудь — возмутится, оскорбится. Поставит меня на место ледяной казенной формулировкой. У него их наверняка припасено на любой случай, включая что-нибудь про сватовство по казенной надобности.

— Вы полагаете, я хотел бы видеть вас под надзором? — неожиданно тихо спросил он. Как будто мой вопрос ударил по чему-то живому.

Ну конечно. Сейчас я еще начну жалеть каменику.

Громов разжал пальцы. Аккуратно отодвинул чашку с блюдцем и поднялся.

Вот и все. Все-таки я его оскорбила. Сейчас поклонится и уйдет на свою половину, и мы продолжим жить через стенку, обмениваясь самоварами и десертами.

Как и должно быть.

Он сунул руку за отворот сюртука и вытащил несколько сложенных вчетверо листов.

— Здесь выписки из манифеста. Статьи, которые касаются вашего положения. — Голос звучал ровно, по-канцелярски. — Вы не верите на слово. Проверьте сами.

— Проверить по чему? По вашей совести?

— По казенному экземпляру. После Солнцеворота манифест будет лежать в городской управе, там же, где вы собирались выправлять свидетельство. Потребуйте книгу входящих указов. Если не хотите ждать, пока присутственные места откроются, поговорите с купеческим старостой. Им тоже разосланы экземпляры.

Знала бы я еще, кто сейчас купеческий староста. Значит, придется узнать. И приехать знакомиться, если я намерена все же купить это чертово гильдейское свидетельство.

Громов будто прочел мои мысли.

— Купеческий староста сейчас Прокопий Савельевич Рябинин. Попросите кого-нибудь вас свести. А пока возьмите.

Чтобы протянуть листы, ему пришлось наклониться. Совсем немного, ровно настолько, чтобы я снова вспомнила: сундук не стол. Я взялась за бумагу, и наши пальцы соприкоснулись, замерев на долю секунды дольше, чем стоило. Громов отпустил бумагу первым и выпрямился.

— Доброй ночи, Дарья Захаровна.

Поклон вышел безупречным, только ушел Громов слишком быстро. Я не успела сообразить, что положено отвечать в таких случаях, а дверь на улицу уже закрылась. Я опустила обратно на табурет. Самовар окончательно остыл и больше не вздыхал: теперь нам обоим было нечего сказать.

Я развернула листы.

Местные закорючки, чтоб их. Впрочем, чего я ожидала — что манифест государыни императрицы перепишут кириллицей специально для меня? Читать такое с моими навыками — все равно что разбирать чужие накладные после бессонной ночи: буквы знакомые, смысл ускользает. Мозги я об эти статьи сломаю гарантированно.

Я уже собиралась отложить чтение до утра, когда обратила внимание на почерк. Не писарская скоропись с завитушками, от которой у меня слезились глаза, — крупные, ровные, раздельно стоящие буквы. С просветами между словами, с просторными интервалами между строк. Так пишут прописи для учеников.

Он знал, как я читаю. Кому и знать, как не ему: сам ставил мне руку, сам видел, как я черкаю закорючки. И он сидел у себя при свече и переписывал казенный текст набело — медленно, крупно, в расчете на меня.

Выходит, разговор он готовил заранее. И не только разговор. Даже то, что я не поверю на слово, просчитал — и заготовил мне возможность проверить.

— Так, — сказала я вслух пустой лавке. — Прекрати немедленно.

Подумаешь, почерк. Канцелярская привычка к разборчивости, ничего больше. Человек всю жизнь пишет отчеты, ему положено иметь разборчивый почерк.

Листы я сложила и забрала с собой наверх. Исключительно из деловых соображений.

1.3

Вернувшись к себе в спальню, я попыталась продраťся сквозь строки манифеста. Раз. Второй. На третьем заходе буквы начали складываться в нечто понятное.

В удавку.

Оказывается, я не могла вернуть себе купеческое звание еще по одной причине: дворянкам можно было вести самостоятельную торговлю. Купчихам дозволялось иметь собственное дело, только пока они не замужем или уже овдовели.

Я прогнала из сознания соблазнительную картину: Ветрову на голову приземляется полотораведерный чугунок, разумеется, не пустой. Сложила выписку из манифеста, накрыла расходной книгой, оклеенной ситчиком, и отправилась на кухню вспоминать, что в мире существуют не только вредные ревизоры и государственные бумаги, но и продукты, ножи и печка.

Завтра на обед у постояльца будут свиные ребра. Тетка сегодня ухватила их по дешевке вместе с обрезаю. Но начать готовить традиционно следовало сегодня.

На пороге кухни меня встретила Нюрка.

— Барыня, постояльца кормить?

Лучше бы уморить голодом. Или подсыпать мышьяка. Сколько проблем разом решилось бы.

— Кормить, — сказала я. — Подавайте.

Девчонки потащили миску с рагу и оставшиеся от завтрака калитки, чай и десерт.

Я проводила их взглядом и вернулась к делу.

Ребра лежали под окном смирно, не пытались требовать с меня пошрины и этим нравились мне больше закона. Я натерла их солью, толченым перцем и чесноком. Потом тонко нарезала лук, выстелила им дно чугунок и уложила сверху мясо. Плеснула в чугунок рассола, накрыла крышкой и сунула в печь. К завтрашнему дню ребра станут мягкими.

Завтра к обеду сделаю глазурь, оболую и суну в печь еще раз, уже открытыми. Было бы соблазнительно взять мед, но злорадство будет длиться куда меньше, чем последующие объяснения с исправником, поэтому обойдусь патокой, сушеной черной смородиной и мясным соком.

Я выпрямлялась от устья печи, когда дверь кухни отворилась и на пороге возник постоялец. Будто почувствовал мои кровожадные мысли в его адрес. По большому счету — несправедливые, не он ведь сочинил этот манифест. Но почему-то именно его хотелось обвинить во всех смертных грехах.

Я зачем-то поправила фартук, прежде чем окончательно выпрямиться и посмотреть на него с видом «чего приперся».

Громов стоял на пороге моей кухни с десертной тарелкой в руках. На тарелке аккуратной горкой лежали продолговатые коричневые комки. В смысле «картошка». И я смотрела на пирожные добрых пару секунд, прежде чем поняла, как они выглядят для непосвященного человека.

— Дарья Захаровна, — произнес Громов так ровно, будто зачитывал опись имущества. — Потрудитесь пояснить. Это десерт — или ваше суждение о моем сегодняшнем предложении?

Я отставила в сторону ухват.

Смеяться было нельзя. Смеяться было решительно, категорически нельзя — потому что если я начну, то уже не остановлюсь и весь сегодняшний вечер, манифест, гильдии, союз без права прохода войск и статский советник на пороге моей кухни с тарелкой в руке — все это выплеснется наружу разом, а потом пойдут слезы.

Я сглотнула. Выпрямилась. Сложила руки на переднике, как примерная хозяйка.

— Это «картошка», Петр Алексеевич.

Я же сама посмеивалась, что не увижу его физиономию, когда десерт поставят на стол. Вчера. Сто лет назад. Когда он еще не сидел напротив меня через крышку сундука и не произносил слова «союз». Что ж. Увидела. И это зрелище определенно стоило того, чтобы простить нарушение границ.

Громов перевел взгляд с тарелки на меня. Потом обратно на тарелку.

— Картошка, — повторил он, словно проверяя слово на вкус. — Вы упоминали это. В перечне. Между пончиками и коврижками.

Неделю назад. Или больше? Я успела сбиться со счета, столько всего произошло за это время. Я упоминала этот десерт мимоходом, в перечне из десятка названий, который Громов выслушал с лицом человека, заподозрившего у меня горячку. Надо же, запомнил.

Я запретила себе придавать этому значение.

— Вы тогда, кажется, решили, будто я заговариваюсь.

— Я и сейчас не вполне уверен, что вы не заговариваетесь. Это напоминает не картошку, а... нарушение общественного порядка. — Он помолчал. — Вы не ответили на вопрос, Дарья Захаровна.

— Если бы это было суждение, я не стала бы тратить на него сливки и шартанский бренди.

Он посмотрел на меня долгим взглядом. Пирожное пахло на всю кухню — пряностями, какао и коньяком.

Громов взял с тарелки вилку. Аккуратно разломил один шарик, оглядел золотисто-кремовый надлом. Положил кусочек в рот.

Я ждала.

Громов прожевал. Посмотрел на оставшуюся половину так, словно она его в чем-то обманула. Доел. Взял вторую «картошину».

— Внешность обманчива, — заключил он тоном, которым закрывают дело за отсутствием состава преступления. — Это десерт.

— Рада, что дознание окончено.

— Внесите его в постоянный реестр. — Он помолчал и добавил: — Доброй ночи, Дарья Захаровна.

Второй раз за вечер. Поклон, впрочем, на этот раз вышел чуть менее безупречным: мешала тарелка, которую он так и не выпустил из рук.

— Доброй ночи, Петр Алексеевич.

Дверь за ним закрылась беззвучно. Тарелку он унес с собой.

Я держалась, пока в глубине дома не стихли его шаги. Потом опустилась на лавку, уткнулась лицом в передник и наконец рассмеялась. Слезы ожидаемо рванулись следом. Я вытерла лицо передником. Воистину, в этом мире не заскучаешь.

Манифест. Удавка. Союз с правом прохода войск. И статский советник, уносящий к себе в ночь тарелку «картошки», как трофей с поля боя.

Глава 2

2.1

На следующий день я утонула в делах по самую макушку.

Для начала пришлось все-таки продаться сквозь выписки из манифеста. Канцелярский язык — та еще задачка в любом мире, а когда текст еще и написан закорючками, которые мой мозг упорно принимал за вражеский шифр, чтение превращалось в пытку с пером и чернильницей.

Я надеялась, что, когда разберусь, что-нибудь придумаю. Однако после прочтения ни одной гениальной мысли в голову не пришло. Даже приличная мысль не заглянула. Конечно, можно было бы напроситься в гости к купеческому старосте и покопаться в полном тексте манифеста, однако я сильно сомневалась, что полный текст у купеческого старосты вдруг откроет мне тайный ход между статьями.

Тогда я засела за то, что в моем мире называли бы бизнес-планом. Как это называлось здесь, я не имела представления — да это на самом деле и неважно. Важным было другое. Я сидела и считала: пуд ржаной муки. Пуд крупитчатой. Смалец, патока, известь, уксус, дрова. Еда для шестерых человек. Пряности — их пришлось помянуть незлым тихим словом: корица, имбирь и гвоздика стоили в десять раз дороже всех остальных пряничных ингредиентов, вместе взятых.

И все равно себестоимость пуда пряников и выручка с него радовали. Неприлично радовали.

Вот записывать все это радовало куда меньше. Я скрипела пером, сажала кляксы, негромко материлась сквозь зубы и снова выводила цифры прописью.

Когда от цифр и закорючек начинала пухнуть голова, я уходила на кухню: готовила для своих и для постояльца, месила тесто для пряников. Дамы ждали, а обещания надо выполнять, даже если государство внезапно решило, что мои пряники опасны для общественного устройства.

Было и еще одно дело. Я помнила, как маленькая княжна Северская вцепилась в пряник — с той решимостью, с какой взрослые люди держатся за наследство. Однако заварное плотное тесто с пряностями — тяжеловатая еда для такой малышки. Детям нужно что-то, что будет таять во рту.

Я растерла немного сливочного масла с желтком и каплей патоки, добавила чуток теплого молока и муки. Из специй только немного ванильного сахара, который я сделала сама. Тесто получилось мягким, шелковистым. Я раскатала его и вырезала маленькие фигурки: звездочки, птичек, рыбок. Малышке должно понравиться.

Пряничный домик в качестве подарка я даже не рассматривала. Прощение князю не стоит сопровождать сахарным теремом, если не хочешь создать впечатление, будто заранее обмазала это самое прощение глазурью. Но ехать совсем с пустыми руками тоже было неловко.

Потом я взялась за письмо князю Северскому. Это тоже заняло прилично времени — до сих пор толком не освоившись в этом мире, я тщательно подбирала слова даже для ответных записок, которые посылала с пряниками. Что уж говорить об официальном прощении председателю дворянского собрания Комаринского уезда от дворянки Ветровой. Я писала, высунув язык от усердия, и материлась всякий раз, когда перо ломалось или ставило кляксу на словах вроде «мудрость» (которое потом все равно вычеркнула) и «власть». В итоге я извела четыре листа бумаги, прежде чем получилось короткое:

«Ваша светлость, осмелюсь просить вас уделить мне время для разговора. Обстоятельства моего положения требуют совета лица, облеченного властью и доверием дворянского собрания. Прошу принять меня не как гостью вашего гостеприимного дома, а как проситель-

ницу к председателю дворянского собрания Комаринского уезда». После, разумеется, шло «примите уверения в совершеннейшем почтении» и так далее и тому подобное.

Сергеа унес письмо. Я успела сгрызть ногти почти до локтей, прежде чем он вернулся с ответом. Между приветственными и прощальными словесными завитушками было написано: «Завтра. Пополудни. У меня дома».

Собираться пришлось тщательно: темно-синее шерстяное платье без вышивки и лишних украшений, гладкая прическа. Никаких купеческих красок, но и никакой сиротской бледности. Я шла к председателю дворянского собрания просить денег, а такие просители должны выглядеть так, будто деньги им не нужны. Вернее, нужны, но исключительно на дело, а не потому, что просительница вчера доела последнюю корку и теперь смотрит на лакея как на возможное сырье для бульона.

Детские печенье с ванилью я завернула в белоснежный накрахмаленный платок. Если меня пригласят потом на половину княгини, подарю лично. Если разговор ограничится кабинетом — передам через лакея или пришлю завтра с кем-нибудь из мальчишек.

В доме Северских было тихо. Лакей принял мою шубу и, не задерживаясь, проводил меня в кабинет князя.

Виктор Александрович поднялся мне навстречу.

— Дарья Захаровна. Рад вас видеть. Присаживайтесь.

Я сделала реверанс и опустилась в предложенное кресло.

— Вы писали, что обстоятельства требуют моего совета как лица, облеченного властью, — начал князь без светских расшаркиваний. — Слушаю вас внимательно.

Я медленно вдохнула, уговаривая сердце не изображать кузнечный молот.

— Ваша светлость, вам, без сомнения, известно о новом манифесте, упорядочивающем торговлю.

Северский чуть прищурился и кивнул.

— Этот документ отрезает мне запланированный путь в торговлю, — продолжила я ровным голосом. — Третья купеческая гильдия для меня закрыта: после брака я числюсь дворянкой. А торговать незаконно, подставляя и себя, и дворянское собрание, взявшее меня под защиту, я не намерена.

Князь молчал, внимательно глядя на меня. Он ждал, куда я поверну.

— Единственный законный путь для меня — вторая гильдия, — сказала я. — Но пошлина в триста пятьдесят отрубов сейчас для меня неподъемна.

— Дворянская опека уже выделила вам средства на содержание, Дарья Захаровна, — негромко заметил Северский. В его голосе не было упрека, только констатация факта. — Устав не позволяет нам выдавать пособия сверх меры, тем более для коммерческих предприятий. Дворянское собрание не банк.

— Я не прошу пособия, ваша светлость, и милостыни не прошу. Я прошу ссуду. Целевой возвратный заем сроком на два месяца.

Брови князя поползли вверх. Кажется, такого он не ожидал.

Я положила на стол исписанные листы и пододвинула к нему.

— Здесь мои расчеты.

2.2

Князь опустил взгляд на строчки, пляшущие так, будто их выводили во время землетрясения.

— Пуд пряников обходится мне чуть меньше чем в двадцать отрубов, — начала пояснять я. — На благотворительной ярмарке я выручила за него...

— Восемьдесят два отруба, — закончил за меня князь. — Ваш вклад был замечен. В отчетном листе ваша фамилия будет стоять среди первых.

— Благодарю, — кивнула я. — Разумеется, я не рассчитываю продавать по пуду каждый день: вряд ли городской свет слетится в мою лавку будто пчелы к бочке с медом. Однако мои пряники очень понравились дамам.

Князь улыбнулся.

— И не только дамам. Ваши пряники даже из меня сделали сладкоежку. О елочках, ими украшенных, гудит весь город, а о пряничном домике уже рассказывают почти как о чуде.

Надеюсь, это не намек.

Нет, для Северских мне было не жалко. Но одно дело — пряничный домик у Ульяны Игнатьевны: купеческий дом, праздник, дети, гости, самовар, все ахают, пробуют, спрашивают, кто сделал, и реклама сама бежит по городу быстрее мальчишек. И совсем другое — привезти такой домик князю, когда я иду к нему с прошением.

Нет уж. Для князя — цифры. Для Аленки — рыбки.

— Домик — вещь штучная, дорогая и для особого покупателя. А простые пряники могут дать не безумную, зато устойчивую выручку.

Я продолжала говорить — о налаженном производстве, о стабильных каналах закупок, о набранном штате и лавке, в которую не стыдно пригласить покупателей.

Князь слушал, кивал. Вглядывался в цифры. Наконец поднял голову. В его взгляде не было ни снисхождения к бедной женщине, ни вежливого сочувствия. Только холодный деловой интерес.

— Вы просите триста пятьдесят отрубков на пошину, — сказал он.

— Именно так. По моим расчетам, при текущем спросе и производственных мощностях...

Князь остро глянул на меня, и я осеклась.

— Вы говорите как промышленник.

— Вовсе нет. Просто я намереваюсь вернуть долг. Значит, я должна понимать и свои возможности, и чужие запросы. Если все пойдет так, как сейчас, я смогу вернуть эту сумму полностью в течение месяца. Если спрос упадет после праздников — максимум через два. Под разумный процент, разумеется.

В кабинете повисла долгая тишина.

Я видела, что произвела впечатление. Князь смотрел на меня как на равного, а не как на просительницу. Но что-то в его лице не давало мне радоваться.

— Вы действительно проделали большую работу, Дарья Захаровна, — произнес Северский. — План точен. Расчеты убедительны.

Он замолчал, и в этом молчании отчетливо слышалось то самое «но», после которого обычно хоронят надежды.

Я ждала.

Князь откинулся в кресле, сложив руки домиком.

— Но вы, Дарья Захаровна, уделив слишком много внимания пошине, упустили главное. Я мог бы ссудить вам эти триста пятьдесят отрубков под вексель и не сомневался бы, что вы вернете долг. Однако ваша проблема не в пошине.

Я напряглась.

— А в чем же?

— Свидетельство второй гильдии предполагает объявленный капитал в двадцать тысяч отрубков. У вас есть такой капитал?

Я медленно выдохнула.

— Насколько мне известно, капитал объявляется.

— Капитал объявляется, — согласился князь. — Обычно достаточно слова. Но объявляется — не значит выдумывается, Дарья Захаровна. Вы — дочь Захара Кошкина. И хотите

заявить городской управе, что у вас чудесным образом нашлись двадцать тысяч отрубков капитала, укрытые от конфискации?

Твою ж...

Северский продолжал, не повышая голоса, но каждое его слово будто вбивало гвоздь в гроб моей идеи.

— Как только вы подадите прошение о второй гильдии, найдется не один человек, который захочет проверить, действительно ли у дочери Кошкина есть эти деньги. Или, что хуже, решат, будто вы пытаетесь узаконить средства, укрытые вашим батюшкой. К вам придут с ревизией. Потребуют подтверждения вашего капитала и природы его происхождения. И когда выяснится, что двадцати тысяч у вас нет, вас обвинят в подлоге и ложных сведениях, поданных казне.

Я смотрела на свои руки, сцепленные на коленях. Мой безупречный план оказался пряничным домиком: красивым, ровным, с окошками — и без одной несущей стены.

— Значит... тупик, — тихо констатировала я. — Третья гильдия мне закрыта по сословию. На вторую у меня нет реального капитала, а вымышленный станет поводом для расследования. Торговать из-под полы нельзя.

Я подняла глаза на князя.

— Выходит, вся эта бухгалтерская красота, — я кивнула на свои записи, — была зря?

Взгляд князя стал тяжелым и внимательным.

— Не зря, Дарья Захаровна. Этой бухгалтерской красотой вы доказали мне, что умеете вести дела. Поэтому я предложу выход. Возможно, он покажется вам не самым изящным, но в ваших обстоятельствах он единственно законный. То, что у вас есть вместо капитала. Свекловичная патока. Очищенная. — Он поднял на меня взгляд. — Вы все еще держите способ при себе?

Я насторожилась. В груди шевельнулся холодок: так, наверное, чувствует себя курица, когда лиса вдруг начинает рассуждать о пользе совместного хозяйства.

2.3

— Держу.

— Разумно, — кивнул князь.

Он помолчал, словно взвешивая слова.

— В таком случае я хотел бы вернуться к своему прежнему предложению.

Я подобралась, готовая защищать свою патоку, как дракон — последнюю приличную монету.

— В тот раз я думал о том, чтобы увеличить выработку сахара, — сказал Северский. — Вы были правы, Дарья Захаровна: патоку в сахар не превратить. Но я недооценил другое. Очищенная патока сама по себе может стать превосходным товаром. Очищенную патоку купят пекари и кондитеры. Винокуры возьмут ее как дешевое сырье для браги.

Князь чуть подался вперед.

— У меня есть сахарный завод, где такая патока остается отходом, значит, сырье почти ничего не стоит. У меня есть химическая фабрика: котлы, мастера и люди, которые сумеют поставить процесс. Анастасия Павловна знает, как вывести новый продукт в свет. Нам не хватает одного звена — вашей технологии очистки.

Он замолчал, давая мне переварить сказанное. А переваривать было что. Мое изобретение могло стать золотой жилой.

— Я не предлагаю вам просто отдать секрет, — продолжал он. — Я человек честный, хоть свою выгоду и не упущу. Вы можете продать мне ваш метод очистки за фиксированную сумму — я не поскуплюсь. Можем подписать договор товарищества, и вы будете получать процент с прибыли. Решать вам. — Он добавил, будто вспомнив: — Трехлетняя привилегия

стоит триста отрубов, не считая сопутствующих расходов. Разумеется, я помогу оформить ее и возьму на себя все связанные с этим расходы. Должен уточнить: привилегия будет оформлена на нас обоих, потому что фабрика будет моя.

Я вдруг поняла, что демон-искуситель выглядит совсем не так, как его рисуют на дешевых картинках. Никаких рожек, голой груди и порочного прищура. Только мундир, безупречная выправка председателя дворянского собрания Комаринского уезда — и предложение, способное поразить любую здравомыслящую предпринимательницу в самую бухгалтерскую книгу.

Настоящий, чистый, законный выход. Такой чистый, что на нем можно было ставить печать и сушить чернила. Мне больше не пришлось бы ломать голову, где взять двадцать тысяч для второй гильдии. Не пришлось бы бояться проверок, прятаться за теткой спиной или, упаси боже, соглашаться на брак с Громовым как на особенно дорогой способ получить купеческое свидетельство. Я могла бы жить безбедно и вообще не подходить к печи — разве что из ностальгии или чтобы не умереть от скуки.

На секунду я позволила себе представить эту спокойную, сытую жизнь, в которой слово «пошлина» не будет вызывать желания засунуть голову в тесто. А потом я посмотрела на свои кривые записи, лежащие перед князем.

Лукошки. Пряники с белочкой. Елочки. Мое дело. Маленькое, пахнущее корицей, патокой и жженым сахаром дело, которое я вылепила собственными руками — не из княжеской милости или мужниного кошелька.

— Заманчивое предложение, ваша светлость, — медленно произнесла я, чувствуя, как морок легких денег рассеивается и оставляет после себя голую арифметику. — Очень заманчивое.

— Но?

— Но если вы поставите очищенную патоку на поток, — я посмотрела ему в глаза, — через месяц ее будут покупать пекари и кондитеры Комаринского уезда. А еще через два — всей губернии.

Я выпрямилась в кресле.

— Мои пряники покупают не только из-за красивой белки. Хотя белка, признаю, работает лучше некоторых приказчиков. Мои пряники покупают потому, что они не черствеют, не горчат и тают во рту. И стоят дешевле тех, что пекут на сахаре или дорогом меду. Это мое главное преимущество. — Я покачала головой. — Если я продам вам технологию, вы заработаете тысячи.

— И вы тоже. Если согласитесь на долю от дохода.

— Да, — признала я. — И, возможно, буду жить куда спокойнее, чем сейчас.

Впрочем, нет. Едва ли спокойнее.

Северский, кажется, и правда был честным человеком. Во всяком случае, достаточно честным, чтобы заранее сказать о своей выгоде и не делать вид, будто спасает меня исключительно по доброте сердца. Возможно, он бы считал мою долю без обмана. Возможно, его счетоводы не потеряли бы в книгах ни единого отруб.

Но сахарный завод — его. Фабрика — его. Котлы, мастера, приказчики, счетоводы — все его. Патока тоже его.

И если завтра кирпич вдруг упадет князю на голову или он нарвется на дуэль или выпьет водицы с холерными вибрионами... Да даже если просто решит продать и сахарный завод, и производство пряников, чтобы остаток жизни провести на Канарах — что останется мне? Воспоминания о том, как прекрасно звучало слово «товарищество»? Конечно, я постараюсь и сформировать подушку безопасности, и найти, как пустить деньги в рост, но это будет уже не мое дело.

Деньги можно заработать, потерять и снова заработать. Секрет, однажды отданный другому, обратно не вернешь.

Я буду полностью зависеть от чужой честности.

Впрочем, я и сейчас от нее завишу. Стоит Северскому перекрыть мне доступ к патоке, и у меня останется три бочки и воспоминания о том, как хорошо все начиналось. Однако, если я соглашусь из страха, это уже не товарищество получится, а что-то другое.

Красиво оформленное, законное, с печатями и процентами, но не товарищество.

2.4

Я подняла глаза на князя.

— Ваша светлость, я не сомневаюсь в честности вашего предложения. Оно выгодное. Оно по-настоящему щедрое. Но я не могу его принять. Если очищенная патока пойдет с вашей фабрики бочками, мое главное преимущество исчезнет. Вы продадите свой товар всякому, кто захочет купить, и через пару месяцев такие же пряники, как у меня, начнет печь полгорода. Я получу деньги, но убью свое дело ради доли в вашем.

— А вам так важно иметь свое дело? — задумчиво спросил он.

Я подумала над этим. Действительно подумала.

— Важно. Наверное, куда важнее, чем было бы разумно. — Я помолчала, подбирая слова. — Понимаете, ваша светлость, у меня почти ничего нет. Фамилия отца, который оставил по себе далеко не добрую память. Фамилия мужа, который счел возможным проиграть меня в карты. Дом, который держится больше на упрямстве, чем на деньгах. И лавка, которую я еще даже толком не открыла.

Я усмехнулась, но вышло криво.

— Звучит глупо, но мои пряники и моя лавка — первое, что я строю сама. Не выпрашиваю, не получаю по милости и не жду, пока кто-то решит мою судьбу за меня.

Должно же у меня в этом мире быть хоть что-то свое!

— Я понимаю, что вы можете очень здорово осложнить мне жизнь — и как единственный поставщик патоки, и как председатель дворянского собрания.

Северский хмыкнул, но вслух оскорбляться не стал.

— Все, что я могу вам предложить, — регулярные закупки. Маленький, но постоянный сбыт того, что для вашего завода пока отход.

Северский откинулся на спинку кресла. Он молчал так долго, что я успела мысленно похоронить и лавку, и патоку, и себя вместе с тремя бочками сырья.

— Вы понимаете цену монополии, Дарья Захаровна, — сказал он наконец. — Далеко не каждый мужчина способен отказаться от синицы в руках ради журавля, которого сперва надо вывести, выкормить и не дать украсть соседям. Вы бережете свою монополию. Это разумно, хотя для меня лично очень неудобно. — Он снова усмехнулся. — И, чтобы вас успокоить... Я не стану перекрывать вам сырье за то, что вы не приняли моего предложения. Это чересчур мелко для князя.

Я выдохнула, и Северский сделал вид, будто не заметил этого.

— Маленький, упрямый и платежеспособный покупатель — тоже не худшее приобретение. Когда вы откроете свою лавку, мы заключим договор. Объемы, сроки, цену — все как полагается. Однако это возвращает нас к началу разговора. Чтобы открыть свое дело, вам нужно двадцать тысяч. Такую сумму я могу дать только под залог.

— Которого у меня нет, — кивнула я.

Дом, даже если бы я рискнула его заложить, таких денег не стоил. Амбарная книга на залог тоже не годилась, как бы красиво ни плясали в ней мои цифры.

Северский пододвинул ко мне мои записи. В этом жесте не было пренебрежения — только констатация факта: в рамках закона этот вопрос не решался.

— Мне жаль, Дарья Захаровна. Если обстоятельства изменятся, мое предложение о партнерстве остается в силе. — Князь поднялся. Официальная часть разговора была окончена. —

А сейчас прошу вас в гостиную. Анастасия Павловна будет рада вас видеть. И Аленка, несомненно, тоже.

Я достала из корзинки накрахмаленный платок с детским печеньем. После разговора о двадцати тысячах дюжина ванильных рыбок выглядела почти неприлично скромно.

В гостиной Северских было так же уютно и светло, как в прошлый раз. Аленка, получив печенюшку, восторженно запищала и немедленно попыталась накормить ею деревянную лошадку. Лошадка, в отличие от некоторых людей, к новым продуктам относилась без предубеждения. Анастасия Павловна смеялась, князь смотрел на жену и дочь с тихой нежностью, и в этой комнате было столько настоящего домашнего тепла, что у меня на мгновение защемило сердце.

Мы пили чай и говорили о пустяках: о погоде, прошедшей ярмарке, предстоящих праздниках. О том, о чем говорят люди, у которых мир не упирается в пошлину, капитал и чужую фамилию. Княгиня ни словом не обмолвилась о моих трудностях, словно мы и правда были просто добрыми знакомыми, решившими провести в компании друг друга морозный полдень. И за эту деликатность я была благодарна ей едва ли не больше, чем за все, что она уже для меня сделала.

Глава 3

3.1

Извозчика я брать не стала. Дело было даже не в экономии: я надеялась, что быстрая ходьба и морозный ветер выкинут из головы ненужные мысли.

Снег хрустел под ногами, мороз покусывал щеки. На дверях тут и там зеленели еловые венки, над улицей тянуло дымом из печных труб. Открылась и закрылась дверь пекарни, обдав меня запахом сдобы. Город жил, да и у меня жизнь продолжалась, несмотря ни на что.

— Пли! — раздался сбоку звонкий вопль.

Я обернулась и едва успела пригнуться. Снежок пролетел над самой головой и врезался в стену дома.

— В барыню попали! — радостно-испуганно завопил кто-то.

Из-за сугроба бросилась врассыпную стайка мальчишек. За ними с руганью понесся дворник — поверх фартука блеснула медная бляха. Да только сорванцов и след простыл. Поругавшись для приличия, дворник вернулся ко мне.

— Не задели вас, барыня? — участливо спросил он. — Позвольте, отряхну.

Оказывается, разбившийся снежок обсыпал мою шубку.

— Спасибо, не стоит, — натянуто улыбнулась я.

Горло перехватило, глаза защипало. Я стиснула челюсти, борясь с накатившим бабьим желанием просто сесть прямо здесь, в сугроб, и разреветься в голос. Всю свою жизнь я пробивала лбом стены, но эта, судя по всему, окажется крепче моего лба.

Не сгруппировалась ли я, отказавшись от предложения Северского? В конце концов, невелика хитрость, рано или поздно он сам догадается.

Я вытерла глаза. Не дождутся! Кто именно — я и сама сейчас не особо понимала, знала только, что сдаться я всегда успею.

Сгруппировалась или нет — что сделано, то сделано. Жизнь продолжалась. Мальчишки играли в снежки, люди покупали гостинцы, праздник на носу, и он придет в любом случае. У меня дома натоплена печь и пахнет едой. В списке заказов еще десяток неотправленных лукошек, и до того момента, когда кто-нибудь захочет взять меня за задницу, еще есть время.

Надо подумать. Надо сесть и хорошенько подумать. А для этого — успокоиться.

Я быстрее зашагала вперед, будто могла убежать от мыслей.

Шум я услышала, едва вывернув на нашу улицу. Кто-то ругался. «Кто-то»! Тетка разоряется. Я замерла на миг, а потом припустила чуть ли не бегом. Что случилось? Снова Ветров натравил на меня собственных кредиторов или что похуже? Только бы не покойник — остальное переживу. Впрочем, покойника бы тетка так костерила, только если бы им оказался Ветров. Видимо, что-то другое.

Ворота в наш двор были приоткрыты. Посреди двора стоял воз с дровами. Лошадь, понурая и философски равнодушная к человеческим страстям, жевала что-то у стены. Возчик — рыжий мужик в залоснившемся тулупе — стоял рядом с видом человека, который уже пожалел, что связался с этим клиентом, но все еще надеется отделаться легким испугом.

Зря надеялся.

Тетка стояла перед ним, оперев руки в бока. Щеки покраснелись, глаза блестят — похоже, несмотря на то, что первый взрыв эмоций ее слегка утомил, происходящее все равно ей нравилось. Тулуп накинут поверх домашнего платья, теплый платок чуть сбился набок. Возле ее ног валялось несколько поленьев, одно — со свежим расколом. На самом возу, поверх ровно сложенного ряда березовых чурок, сидела Луша. Хвост распушен, вид чрезвычайно деловой — только большой печати для заверения описи имущества не хватало. Лошадь косилась на нее, но возражать не решалась.

На черном крыльце стояли Нюрка и Парашка. Эти одеваться не стали, только накинули подаренные теткой платки. Мороз девчонкам, кажется, вовсе не мешал — обе смотрели на тетку так, будто им бесплатно показывали ярмарочное представление с медведем, фокусником и неминуемым мордобоем. В приоткрытой двери за их спинами виднелись мальчишки. Точнее, виднелись только носы и восторженно сияющие глаза.

На половине постояльца была открыта форточка. Разумеется, Петр Алексеевич был выше простого любопытства — наверное, проветривал совесть.

— ...и это ты мне как березу считаешь! — гремела тетка. — Савка, ты меня за слепую держишь или за покойницу? Потому что только покойница за такое тебе бы безропотно заплатила!

— Господь с тобой, Анисья! Береза как береза. Сухая, добрая. Сам рубил, сам вез.

— Да какая ж это береза! — Тетка подхватила полено, и я на миг испугалась, что она сейчас огреет им возчика. — Где ты тут березу видишь!

Луша сунула нос в щель между поленьями, чихнула и брезгливо отряхнула лапу.

— Не нравится — не бери, — оскорбился возчик. — В такой мороз всем дрова нужны, кому другому продам!

— Вот кому другому и ври! А мне не надо. Нюрка!

Нюрка подпрыгнула так, будто ее вызвали к доске на любимом уроке.

— Да, барыня Анисья Ильинична!

— Поди сюда. Смотри, пока старая дура живая и тебя учить может. Вот это что? — Она потрясла поленом.

— Дрова, — осторожно сказала Нюрка.

— Дрова, — передразнила тетка. — Замуж выйдешь, муж в твой дом купит вместо овса сена, тоже скажешь «корм».

— Да что ж вы, барыня, кто сено с овсом перепутает!

— Слышал, Савка! — гордо обернулась к возчику тетка. — А кто березу с осиной перепутает! Это разве дрова?

— А чем тебе не дрова? — насупился возчик.

— Осиной разве что печь прочистить да грехи выкурить. Горит сильно, да недолго, тепла с нее — как сала с мосла: вроде кость есть, а поживы никакой. А это что? — Она выхватила с воза еще одно полено. Луша тут же метнулась ближе, вскочила на полено, вернулась на воз и уставилась на Савку с таким выражением, будто даже ей было за него стыдно. — Еловина! Ах ты ж, Савка, прохиндей! На Солнцеворот ветки народу продал, а стволы мне под березу привез? Решил праздник со всех сторон ободрать? Не дровяник ты, Савка, а праздничный разбойник!

— Сверху — береза, — набычился возчик.

— Сверху! — Тетка аж подпрыгнула. — Сверху, слышали? Серега! Мишка! Вылезайте, бестолочи, все равно торчите там, как мыши из щели. Снимайте верх. Сейчас посмотрим, что у Савки сверху, что снизу и где у него совесть закопана.

3.2

Луша, похоже, решила помочь: сиганула на край воза, сунула лапу между поленьями и вытащила оттуда мокрую щепку с прилипшей хвоинкой. Мальчишки выбежали из дома с такой готовностью, словно их звали не работать, а участвовать в шалости. Вдвоем они живо сняли верхний ряд. Под ровным рядом березы обнаружились поленья похуже — многие с примороженным снегом.

— Вот! — торжествующе схватила одно такое тетка. — Смотрите все!

Как будто на нее и так не смотрели все. Даже лошадь.

— Снизу мокрое. Снегом набито. Глядите, люди добрые, что он мне продает! Не то дрова, не то воду! Может, ты мне еще лед по березовой цене отпустишь, Савка? Так лед я у реки бесплатно наколю.

— Да где ж мокрое, — слабо возразил Савка. — Чуток прихватило.

— Чуток у тебя ума не хватило, когда ты ко мне с таким возом поехал. Это раз. — Она загнула палец. — Осина в березе — это два. Сырость — три. Да и сложил их, прости господи, как...

— А вот уж как уложил — не твое дело.

Тетка медленно обернулась к нему.

— Не мое дело? Вон как набросал: крест-накрест, с дырами. Воздух под поленья продать надумал! Полсажени, говорит. Да если это переложить полено к полону, у тебя полусажень до четверти похудеет и на исповедь запросится.

Нюрка восхищенно вздохнула.

— Анистья Ильинична, а можно мы переложим?

— Можно. Только погоди маленько. Сейчас Савка сам решит, желает он, чтобы мы его сажень при свидетелях мерили, или у него совесть проснулась.

Возчик потер ладонью нос. На морозе нос был красный, но теперь краснота полезла дальше, к ушам.

— Ну чего вы, право слово. Морозы стоят, дрова нынче...

— Дорогие, — закончила за него тетка. — Знаю. Потому и смотрю, за что плачу. За сухую березу я бы заплатила как за сухую березу. За осину с водой и воздухом плачу как за осину с водой и воздухом. Да и за елку скинуть бы надо.

— Ладно, — мрачно сказал возчик. — Скину гривенник.

— Гривенник, — ласково повторила тетка. — Савка, ты меня растрогал. Я сейчас заплачу, чтобы слезы на твоих мокрых поленьях понамерзли и твоя четверть снова полусаженью стала.

— Анистья Ильинична...

— Полсажени березы ты мне обещал? Полсажени. За полтора отруба. А привез что? Осину, елку, снег и воздух между поленьями. За такое не гривенник скидывают, а четвертак. И пятак мальчишкам за перекладку.

— Четвертак?! — Возчик даже шапку поправил. — Да вы меня без штанов пустите!

— С такими дровами тебя и в штанах честный человек не признает. Четвертак долой и пятак за работу.

— Пятак-то за что!

— За науку. Будешь знать, как в порядочный дом хлам везти.

— Да я ж вам не хлам...

— Тогда мерим, — сказала тетка. — Нюрка, принеси из моей комнаты из корзины с рукоделием мерную...

— Ладно уж, скину, — быстро сказал Савка.

— Четвертак и пятак за перекладку, — уточнила тетка.

— Да чтоб у меня руки отсохли еще раз к вам во двор завернуть, — пробормотал он.

— Не отсохнут, — утешила тетка. — Жадность не даст. Четвертак и пятак?

— Четвертак и пятак, — выдавил он.

Луша спрыгнула с воза словно сочла выяснение отношений оконченным, и гордо удалилась к крыльцу. В хвосте у нее торчала еловая иголка.

Тетка наконец заметила меня и всплеснула руками.

— Дашка! Ты чего у ворот стоишь, столб ледяной изображаешь? В дом, немедленно! Глянь только, на кого ты похожа — нос красный, щеки красные, еще застудишься. Девки, а вы чего стоите! Барыню встречайте! Чая ей налейте, да погорячее.

Скрипнула форточка, закрываясь.

— Вижу, вы тут без меня заскучать не успели, — сказала я, проходя во двор.

— Да тут захочешь, а не соскучишься с некоторыми, — проворчала тетка. — Глаз да глаз, отвернешься, а вместо дров дым с водой привезут, и тот сырой.

Савка сделал вид, что не слышит.

Я сдвинулась с места не сразу. Мысль, отброшенная накануне, снова подняла голову. В этот раз я не стала ее прогонять.

Мальчишки с радостным гиканьем кинулись перекладывать дрова. Жаль, с императорским манифестом нельзя поторговаться так же — с поленом в руках для наглядности.

— Дашка! — рывкнула тетка уже безо всякой нежности. — Я кому сказала — в дом!

Спорить я не стала. Во-первых, замерзла. Во-вторых, тетка в боевом состоянии могла, кажется, сторговаться даже с метелью, чтобы та мела на четвертак дешевле, а мне-то уж точно не поздоровится.

Я сняла шубку у себя в комнате, прошла на кухню. Тепло ударило в лицо так резко, что я на миг прикрыла глаза. Пахло хлебом и мясом. Парашка суежилась у печи. Нюрка прилипла к окну, выходящему во двор.

— Хватит глазеть, — сказала ей я. — Савка повержен, добьет его тетушка без свидетелей.

Нюрка прыснула.

— Как его барыня Анисья Ильинична, а!

Я села к столу, взяла чашку обеими руками и только тогда поняла, как сильно озябла. Пальцы ломило, в висках стучало. Морозный ветер действительно выдул часть ненужных мыслей, но, как выяснилось, освободившееся место тут же заняли новые. Ничуть не лучше прежних.

Парашка поставила передо мной блюдце с сухарями и еще одно — с патокой. Я взяла один сухарь, разломила его. Машинально начала собирать крошки со стола.

Дворянка Ветрова должна объявить двадцать тысяч капитала. Купчиха Григорьева...

Я отхлебнула чая и обожгла язык.

3.3

Тетка вошла в кухню, покрасневшая и довольная.

— В другой раз подумает, какую дрянь сверху березой прикрывать! Слыхала, как я его? Учись, пока я жива.

— Такому полжизни учиться надо, — хмыкнула я.

— Ну а чего? Какие твои годы? Да и я помирать пока не собираюсь.

Я кивнула. Потом кивнула еще раз — самой себе.

— Садись, тетушка, попей со мной чая, а то одной скучно, — попросила я.

Глянула на девчонок — те понятливо испарились.

Тетка опустила, кряхтя так удовлетворенно, словно перед ней не поставили чай, а положили лавровый венок. Я пододвинула к ней патоку и сухари. Тетка обмакнула один в чай. Посмотрела на сухарь, на меня и настороженно прищурилась.

— Ну? Что стряслось?

Я невольно усмехнулась.

— Почему сразу стряслось?

— Потому что, когда у тебя ничего не стряслось, ты или тесто месишь, или с постояльцем цапаешься, или еще какую дурь затеваешь. А когда наливаешь мне чай, но смотришь не на меня, а сквозь, будто в какие дали горние, значит, дело нехорошее.

Я покрутила чашку в руках. На поверхности чая дрогнуло мое отражение — бледное, усталое и совсем не похожее на женщину, которая знает, что делает.

— Я была у князя Северского, — сказала я.

— Знаю. И что? Прогнал он тебя?

— Нет, приветил.

Тетка нахмурилась.

— Тогда чего ты такая, будто тебя тем приветом по лбу приложили?

— Я просила у него ссуду, чтобы заплатить гильдейскую пошлину, и он дал бы. Но нужен объявленный капитал в двадцать тысяч.

— Ты чего, Дашка, сдурела? На первую гильдию никак замахнулась?

Я озадаченно на нее посмотрела. Впрочем, если Толоконников еще вчера не знал о новом указе, то и тетке неоткуда о нем знать. Почему-то я была уверена, что она подслушала нашу беседу с Громовым, но то ли в лавке стены и двери слишком хорошие, то ли Громов позаботился, чтобы нас не подслушали.

Пришлось коротко пересказать новости тетке. Анисья втянула воздух сквозь зубы.

— Да чтоб ей... — Она осеклась. — Жилось долго и счастливо, благодетельнице нашей, только и думает, как о простом народе позаботиться. — Она несколько раз вздохнула, успокаиваясь. — Да только, сдастся мне, ты, Дашка, на воду дуешь. Капитал ведь отроду не проверяли.

— У дочери Захара Кошкина проверят.

Тетка надолго задумалась.

— Твоя правда, — неохотно признала она наконец. — У батюшки твоего завистников хватало. На нем уже не отыграться, а на тебе — могут.

Она откусила от размокшего сухаря, начала жевать. Лицо ее стало задумчивым.

Я глубоко вдохнула, собираясь с духом.

— Тетушка, мне нужен твой совет.

— Значит, точно дело дрянь. — Она слизнула прилипшую к пальцу сахарную крошку.

Я молчала.

— Говори, — не выдержала тетка.

— Дворянке Ветровой подобает вторая гильдия. Однако купчихе Григорьевой доступна и третья. Капиталом можно объявить дом.

— Окстись, Дашка, дом, хоть и хорош, столько не стоил, — вскинулась она, будто не услышав «купчихе Григорьевой».

Или, наоборот, слишком ясно услышав.

— От силы пять тысяч, и то только потому, что лавка больно хороша стала.

— Шубу добавить. Сказать, что какие серьги от приданого остались, не суть, серьги мои точно пересчитывать не будут, — отмахнулась я.

На самом деле я отчетливо понимала, что сейчас мы спорим о мелочи, потому что обе боимся подступить к главному.

— Если оформить дело на тебя, тетушка? — произнесла я наконец то, что повисло в воздухе.

— Дашка, — медленно проговорила она. — Ты в уме?

— Я понимаю, — затараторила я, не то уговаривая, не то отговаривая, — что это плохой выход. Что все риски лягут на тебя, и, если я проторгуюсь, за долгами придут к тебе. Что это тебе придется бегать по присутственным местам, оформляя бумаги и налоги...

Я не договорила. Тетка тоже молчала. Отпила чая, поморщилась.

— Остыл.

— Налить горячего?

— Не мельтеши.

Я послушно заткнулась.

Тетка вернула чашку на стол. Взгляд у нее изменился: стал острым, напоминая почему-то взгляд менялы Зильбермана.

— На меня, значит, — сказала она. — Свидетельство третьей гильдии.

— Если это возможно.

— Ежели по закону, поди, и возможно. Я — вдова, значит, имею право держать свое дело. Лавка от дома неотделима, поэтому дом — капитал. Шубка твоя отрубов восемьсот стоит, ежели ее оценить. Серьги, платье, товар, припасы — еще что-нибудь наскребем. До восьми тысяч не дотянем, конечно, да капитал ведь объявляют, а не на стол выкладывают.

Какая-то холодная расчетливость появилась в ее голосе, и от этого я поежилась, несмотря на горячий чай.

— Только Рябинин-то все равно спросит, откуда капитал.

— Ты его знаешь?

— А кто ж его не знает? Староста купеческий не голубь сизый, чтобы увидел бумажку — и поверил. Он спросит, откуда капитал, непременно спросит. Может, не так, как с тебя бы спросили, да только всем известно: Анисья Григорьева приживалкой весь свой век при семье сестры была. Откуда у нее аж восемь тысяч? И дом не ее, дом Дарье Захаровне от батюшки по наследству остался.

Молчание повисло тяжелое и вязкое, как патока. Я ждала, что скажет тетка. Тетка не то думала, не то ждала моей реакции.

— Положим, Рябинину получится зубы заговорить, — продолжила она. — Он, конечно, не мальчик и не Савка. — мотнула головой в сторону окна, из-за которого до сих пор слышался стук дерева: мальчишки укладывали поленницу. — Только, Дашенька, правильно ведь ты сказала. Если свидетельство на мне, то и перед старостой я стоять буду. И в управу я пойду. И с поставщиками рядиться мне. И если кто жалобу напишет — ко мне придут. Деньги, выходит, твои, а отдуваться мне.

— И что ты предлагаешь? — осторожно спросила я, уже ожидая услышать то, после чего разговор можно будет сворачивать вместе с отношениями с теткой.

3.4

— Это ты, Дашенька, предлагаешь. То, что ты предлагаешь, называется товарищество на вере. Один наружу стоит: имя его, свидетельство его, перед управой и старостой он отвечает. Другой деньги кладет. Или товар. Или секрет какой. И долю имеет, какую договором положат. Я замерла.

— То есть...

— То есть, — перебила тетка, — если делать не по-дурачки, а по-человечески, то возможно. Составляется договор. Анисья Григорьева берет свидетельство, торговлю ведет от своего имени, а Дарья Захаровна Ветрова вносит... — Она запнулась и бросила на меня быстрый взгляд. — Что ты там вносишь?

— Деньги, — сказала я. — Сколько есть — на муку и прочие припасы. Рецепты, которые у меня в голове. Работу. Лавку.

— Дом твой, — подтвердила тетка. — Значит, лавка твоя. Помещение ты как бы даешь под торговлю. Товар твой. Рецепты твои. Печь твоя. Девки при тебе. Я имя даю, свидетельство беру, с купцами рядиться буду, перед старостой отвечать. Прибыль делить договором.

Она говорила все торопливей. Сухарь был забыт. Чай — тоже.

— Только договор надо крепко писать. Не так, чтобы потом каждый крючкотвор вертел, как хотел. Свидетелей брать не болтунов. Лучше людей с весом. Северского, может, в это не впутывать... хотя княжеское имя сильно, конечно. Сказать: так и так, я вдова, капитала нет, зато торговлю знаю. Имя свое объявляю, свидетельство беру. Дашка при мне... нет, не при мне...

Тетка осеклась. Нахмурилась, будто споткнулась на ровном месте.

— Не при мне, — повторила она уже тише. — Так нельзя говорить.

За окном снова стукнуло полено. Тетка не повернула голову.

— Погоди.

Она медленно провела пальцами по столу, собирая сухие крошки в одну кучку. Движение вышло хозяйское, привычное: ни одной крошке не пропасть, ни одной мелочи не уйти из-под руки.

— Значит, я имя даю, — сказала она почти себе. — Я к старосте. Я с купцами. Я свидетельство беру. Я цену ставлю. Я девок гоняю. Я смотрю, чтоб муку не переводили, чтоб дрова не сырые, чтоб приказчики не обжулили...

Она замолчала. Потом подняла на меня глаза.

— Слышишь, как оно выходит?

Я слышала.

Очень хорошо слышала, и от этого хотелось заткнуть уши, потому что еще минуту назад все звучало почти разумно. Почти законно. Почти безопасно. Бумага, договор, свидетели, староста, доли прибыли. Не подставное лицо, не мошенничество, а честное товарищество, где каждая из нас вносит свое и каждая получает свою долю прибыли.

Только в теткинском перечислении мое «свое» как-то незаметно осталось у печи.

— Слышу, — сказала я. — Но ведь это можно прописать. Что дело мое. Что рецепты мои. Что ты...

— Что я только имя даю? — Тетка усмехнулась, но невесело. — Имя, Дашка, не печать на бумажке. Имя — это кому в глаза смотреть будут. Кому верить станут. С кого спрашивать. На чем слове товар брать и долг давать.

— Я не хочу тебя подставлять.

— Знаю.

— И не хочу, чтобы ты...

Я запнулась.

Тетка подняла брови.

— Что?

— Чтобы ты оказалась крайней, если что-то пойдет не так.

— Крайней, — повторила она. — Хорошее слово. Только ты сейчас не о том думаешь.

— А о чем?

Она снова провела пальцами по столу, подцепила последнюю крошку, поднесла ко рту и почему-то не съела. Сжала между пальцами.

— Я ведь возьму.

— Что возьмешь? — не поняла я.

— Лавку твою. Не украду, нет. Не по-злему, не сразу. Да и не пойму сперва, что беру. Скажу себе: Анисья, ты для дела стараешься. Дашка молодая, горячая, может вон законного мужа простыней по мордасам отхлестать, не разбирая последствий. Купцов не знает, чиновников не знает. Кто, если не ты, Анисья, за всем приглядит?

Она говорила спокойно, почти буднично, но от этого становилось только хуже.

— Сперва буду к старосте ходить. Потом с поставщиками рядиться. Потом скажу Нюрке: не так подавай, Парашке: не туда ставь, мальчишкам: не к той графине беги. Потом начну смотреть, сколько ты муки в тесто кладешь и не много ли корицы. А если ты спорить станешь, скажу: молчи, я перед управой отвечаю.

Я стиснула чашку.

— Ты так не сделаешь.

Тетка посмотрела на меня долгим взглядом.

— Сделаю.

Я открыла рот — и закрыла.

— Потому что уже делала, — сказала она. — Не с лавкой — с тобой. Все «для твоей пользы». То мужа ублажи, то постояльцу улыбнись, то не дерзи, то глаза долу. Я ведь тоже

тогда думала: спасаю. А сама что делала? В кабалу тебя толкала, только бы не страшно было. И за тебя, и — больше — за себя.

Она криво усмехнулась.

— Страшно мне было, Дашка. Всю жизнь страшно. Баба без мужика — куда? Без хозяина — как? Без крепкой руки — чем жить? Вот я и искала тебе крепкую руку. Даже не подумала, что тебе от нее тошно. Что баба сама крепкой рукой может быть — и ведь знавала я таких баб, да все думалось: не от хорошей жизни сама бьется.

— Тетушка...

— Не перебивай. Трудно мне это говорить, так дай уж договорить, пока язык не отсох.

Она дожевала сухарь. Отпила чая, словно поставила точку в одной мысли и перешла к другой.

— Я всю жизнь при чужом углу жила. У свекрухи. При батюшке твоём. Теперь при тебе. Все вроде хозяйничала: кому кашу варить, кому рубаху чинить, у кого долг выбить, где дешевле купить. А своего у меня что было? Сундук с тряпьем да право молчать, когда мужик сердится. А ты мне сейчас хочешь свое дать. С печатью. Со свидетельством. С правом перед купцами говорить: мое дело.

— Наше, — тихо сказала я.

Тетка усмехнулась.

— Вот в том-то и беда, Дашка. На бумаге будет наше. А в моей голове очень быстро станет мое. — Она вытерла пальцы о передник и вдруг резко поднялась, будто испугалась, что сказала слишком много. — Всё. Не гляди на меня так.

— Как?

— Будто я хорошая.

Я невольно хмыкнула.

— А ты не хорошая?

— Я умная, — отрезала тетка. — Сегодня. Завтра опять, может, дурой стану. Так что пользуйся, пока есть. Не возьму я твое, Дашка. Именно потому, что уж слишком хочется взять.

Она подлила свежего чая в мою чашку.

— Пей. Разговор этот забудь. И не вздумай киснуть. Раз один путь закрыт, другой искать будем. Не впервой.

Я обхватила горячую чашку ладонями.

Еще одно решение оказалось тупиком, но почему-то от сознания этого мне стало легче.

Глава 4

4.1

Несмотря ни на что, чай был хорош. Крепкий, душистый — совершенно не жаль денег, отданных за заварку. С медом было бы еще лучше, но меда в доме не осталось, и я пока не хотела зря нервировать тетку, покупая его. С сухариком тоже неплохо.

Пожалуй, не буду сегодня думать ни о будущем, ни о заботах. Займусь исключительно неотложными делами. Варезки, опять же, сами себя не свяжут — очень удобно считать неотложным то, чем хочется заниматься.

Разумеется, именно когда я окончательно решила, что остаток вечера проведу в относительно безделье, в дверь постучали. Дверь открылась почти сразу: из девичьей на первом этаже идти было недалеко. Еще через полминуты в дверь сунулась Нюрка.

— Барыня, там к вам. Посыльный с бумагой, говорит, только вам в руки, и чтобы вы расписаться изволили.

Тощий парнишка в подряснике достал из-под мышки засаленную тетрадку.

— Велено здесь расписаться.

Он раскрыл тетрадь и указал на последнюю строчку, где разборчивым почерком писаря было выведено: «Дарье Захаровне Ветровой вручена повестка из Комаринского духовного правления по брачному делу ее с Анатолием Васильевичем Ветровым студня двадцатого дня лета семь тысяч триста девятнадцатого года».

— Зайдите, — велела я, впуская парня в прихожую. — Чая горячего?

Невелика радость весь день бегать с бумажками по морозу, пусть хоть отдышится немного.

— Будьте добренька, милостивица, — шмыгнул он носом.

Я указала ему на табурет, служивший для переобувания. Окликнула девчонок — с чаем они обернулись быстро. Парень вручил мне конверт, запечатанный сургучом. Пока он пил чай, грея о кружку озябшие руки, я кое-как накарябала в тетради «Получила Дарья Ветрова».

Посыльный допил чай, проверив подпись, поклонился. Я дала ему медяшку; он снова поклонился и исчез за дверью.

Девчонки смотрели на конверт так, будто он мог укусить. Честно говоря, я бы не удивилась, если бы действительно смог — бумажки, доставленные под роспись, никогда не предвещают ничего хорошего.

Да и вообще, кроме манифеста и гильдейского капитала для полного счастья мне не хватало только повестки по брачному делу. Но до чего же быстро завертелись церковные колеса — недели не прошло!

Или их кто-то подмазал? Я прогнала эту мысль — Ветров, конечно, нажил врагов с его характером, но вряд ли кто-то бы стал тратить силы чтобы ему напакоstitь. Он и сам прекрасно справляется с этой задачей.

На печати красовались три языка пламени. Я сломала ее еще на лестнице, но в полутьме разобрать букв не смогла. Пришлось сперва добраться до спальни и подойти к окну. Заглянув в бумагу я выругалась — необходимость разбирать местные закорючки каждый раз бесила до скрежета зубного. На самом деле бесили меня не закорючки, а собственная полуграмотность. Но закорючки были удобнее, и возразить не могли.

Буквы как назло оказались мелкими и скученными — сразу видно, не Громов переписывал.

Рутенская духовная консистория.

По прошению Дарьи Захаровны Ветровой

О расторжении брака ее с мужем ее Анатолием Васильевичем Ветровым.

Надлежит явиться студня двадцать первого дня...

Я моргнула. Перечитала еще раз — буквы не изменились. Мне надлежало явиться завтра. Через неделю после подачи прошения по делу, которое в норме полагалось рассматривать месяцами, а лучше годами, чтобы все участники успели проникнуться святостью брачного союза, а заодно и состариться.

В дверь постучали и тут же просунулась голова тетки.

— Что там за письмо, Дашка?

— Консistorия, — сказала я. — По разводу.

— Уже? — охнула она.

— Уже. — я снова заглянула в текст. — Пишут: необходимо рассмотреть безотлагательно, дабы прежде наступления светлого праздника пресечь соблазн, возникший от поругания брачного союза.

— Ишь ты, как заворачивают, — пробормотала тетка. — Но помяни мое слово, Дашка, нечисто тут что-то. Суды что мирские, что церковные медленные как телега со старой лошаденкой. А тут рысакон понеслись!

Я задумчиво кивнула.

В дверь из-за теткинго плеча просунулась Нюрка. Вид у нее был такой торжественный, словно она вошла с докладом в императорский кабинет, не больше не меньше.

— Барыня... постоялец спрашивать велели, не соблаговолите ли вы принять его для аудиенции.

Последнее слово она выговорила по слогам, с таким старанием, что я почти услышала за ним ровный голос Петра Алексеевича.

Ну кто бы сомневался! Просто поговорить Петр Алексеевич не мог. Слово должно было сперва напугать Нюрку, потом разозлить меня и только после этого послужить своей прямой цели.

И я действительно разозлилась, но злость тут же исчезла, когда я представила, как постоялец объясняет Нюрке смысл незнакомого слова. Фыркнула, и тут же снова разозлилась уже на себя и по-настоящему. Очень уместно веселиться с повесткой из консистории в руках, приказывающей явиться уже завтра.

Церковь взялась спасать наш поруганный брак с такой прытью, будто Ветров не жену в карты проиграл, а лично поджег алтарь в кафедральном соборе, или как там он называется в этом мире. Кого волновала та святость брака, спрашивается, когда Ветров проматывал приданое и помогал жене булькнуться в прорубь?

Приданое. Слово царапнуло разум, но я не успела за него ухватиться, потому что Нюрка спросила.

— Так что велите передать, барыня?

— Скажи Петру Алексеевичу, что я приму его в лавке, — сказала я. — Как вчера. И чай подай. Горячий.

— А к нему что?

— Картошку.

«Суждение» было сейчас самым подходящим десертом.

Тетка посмотрела на меня прищурившись.

— Ты с ним, Дашка, поласковой.

— Ты опять? — взвилась я. — Его поленом приласкать в пору!

— К поленьям люди бумажные непривычны. Их словами надо.

Словами... Легко сказать. У Громова слова покрепче полена будут.

Тетка больше ничего не сказала. Только вздохнула, поправила платок и ушла следом за Нюркой — то ли проследить за чаем, то ли просто чтобы не мешать мне.

4.2

В лавке пахло хвоей и пряниками. Веревоочная скатерть на столе выглядела чистой, несмотря на вчерашнее чаепитие. Нюрка внесла поднос: чайник, две чашки, блюдо с пряничными сухариками и отдельную тарелку с «картошкой». Коричневые комки лежали аккуратной горкой и выглядели еще выразительнее, чем вчера.

Громов вошел тотчас же как она вышла — будто специально караулил под дверь лавки. Может и караулил, кто его знает. Взгляд его задержался на письме и печати, но удивления на лице не появилось. Интересно, откуда он узнал? Или ему пришло что-то подобное? Как свидетелю? Собственно, потому и просьба об «аудиенции»?

При этой мысли почему-то стало тошно.

Постоялец поклонился. Перевел взгляд на тарелку с «суждением».

— Даже если бы у нас не было повода для разговора, следовало бы его выдумать ради такого чаепития.

Я указала ему на табурет.

— К сожалению, повод есть. Подозреваю, вы приложили к нему руку.

— Как и вы.

Я вспыхнула, открыла было рот, но высказаться не успела.

— Вы сами составляли прошения, описывая все прегрешения вашего мужа. Неудивительно, что церковное начальство проявило редкую расторопность.

— Я писала под вашу диктовку! — возмутилась я.

Он приподнял бровь, я залилась краской.

Можно было бы напомнить, как он тащил меня за плечо по лестнице, будто мешок с мукой. Как запихнул за стол и велел писать, не особо интересуясь, способна ли я держать перо, или могу только запустить чернильницей ему в голову.

Но если бы он тогда оставил меня в покое, я бы заперлась в спальне. Села бы на кровать, уставилась в одну точку и до рассвета перебирала бы в голове обломки собственной жизни, не понимая, за какой хвататься первым. Ветров к утру протрезвел бы, опомнился и побежал рассказывать свою версию. Город получил бы не доведенную до крайности жену, молящую церковь о защите, а потаскуху, которую муж справедливо выгнал из дома.

Громов понял это раньше меня. И оттого что я должна была быть благодарной ему за это, хотелось ненавидеть его еще сильнее.

— Благодарить не стану, — буркнула я.

— Я и не требую.

— Как вы великодушны!

— Я разумен. И потому способен понять, что благодарность в подобных обстоятельствах была бы неуместна.

Я жала столешницу, чтобы не ударить его чем-нибудь тяжелым... перед тем, как спросить, что делать дальше.

— Что вы от меня хотите? — процедила я сквозь зубы.

— Для начала — чтобы вы перестали ломать стол, на создание которого потратили немало труда, — он выразительно посмотрел на мои руки.

Я заставила себя разжать пальцы.

— Благодарю за ценный совет. А по существу?

— Завтра вы явитесь туда, куда вас вызвали. Вам очень повезло, что поведение вашего мужа так возмутило...

— Повезло? — фыркнула я.

— Вы предпочитаете до конца жизни оставаться связанной с этим... — было видно, что слово «человек» по отношению к Ветрову у него не выговаривается точно так же, как и у меня. — ... созданием?

— Я предпочитаю, чтобы он утопился.

— А вот этого вам лучше завтра не говорить.

— Вы попросили «аудиенции» — я выделила это слово голосом, до того нелепо оно звучало в контексте... да всего! — чтобы предупредить меня, о чем не следует говорить?

— Меня вызвали свидетелем, — он дернул щекой. — И я не хочу быть свидетелем того, как вы сами закапываете себя. Особенно если учесть, что и без того найдется немало желающих вас закопать. «Довела мужчину до непотребного поведения» для большинства мужчин куда приятнее чем «мужчина повел себя недостойно». А в церковном суде, как вы понимаете, дам не будет.

— Гендерная солидарность, — хмыкнула я.

— Что, простите?

Я мысленно выругалась. Когда-нибудь мой язык доведет меня до церковного суда. Ах, да.

— Круговая порука. Только «своим» в ней становится тот, кто одного с тобой пола. Дамы тоже так умеют.

Громов невозмутимо положил «суждение» на блюдо.

— Завтра господин Ветров будет говорить именно с расчетом на эту... как вы изволили выразиться?

— Неважно.

— На эту круговую поруку. Он не будет отрицать ни сам факт карточной игры, ни ставку — слишком много было свидетелей. Он попытается доказать, что дошел до подобного, потому что вы не оставили ему выбора.

— Прекрасно, — процедила я. — Значит, завтра я услышу, что сама виновата в том, что меня проиграли в карты.

— Услышите.

— Утешаете вы как палач перед казнью.

— Утешение сейчас бесполезно. Вам нужны правила.

— Правила чего? — не удержалась я. — Как достойно слушать, что ты шлюха?

— Как не помочь обвинителю доказать, что он прав.

Я заткнулась.

Петр Алексеевич чуть наклонился вперед.

— Ему нечем оправдаться. Поэтому он будет обвинять вас. Добиваться, чтобы вы вспылили. Перебили, оскорбили его, присутствующих, начали защищаться прежде, чем вас обвинят прямо. Любая ваша резкость будет использована как доказательство несдержанности. Любая шутка — как дерзость.

Выходит, завтра мне придется притворяться фиалкой. Затея заранее провальная.

— Любая попытка объяснить больше, чем спрашивают, — как желание запутать дело. Лучше всего — отвечать четко на задаваемые вопросы. Вы это умеете, когда чувства не захлестывают ваш разум. И не спорьте с формулировками.

— Даже если они будут унижительными?

— Особенно если они будут унижительными.

— Прекрасно! — констатировала я. — Значит, он будет называть меня шлюхой, жирной, тупой и неграмотной... Хорошо, с последним утверждением я согласна, но все же — мне ни возразить, ни козлом его в ответ не назвать?

— Крайне не рекомендую, — все так же сухо заметил Громов.

4.3

И этот его сухой тон выбесил меня окончательно.

— Тогда что мне можно? Молчать, смотреть в пол и изображать раскаявшуюся грешницу?

— Раскаяние оставьте господину Ветрову. Впрочем, оно ему не поможет.

— Тогда что?

— Вы должны держаться прямо. Смотреть на того, кто задает вопрос. Не оправдываться, не просить жалости и не пытаться понравиться.

— Вот это мне обычно удается без усилий.

— Завтра постарайтесь особенно. И не изображайте оскорбленную добродетель. Вы — хозяйка дома, которую муж оставил без средств, лишил приданого, а после поставил на карту как вещь. Этого достаточно.

— А что будете говорить вы? Что приняли эту ставку?

— Именно так.

— И как вы это объясните? Почему человек, живущий в доме у женщины, принимает ставку на эту женщину?

— Никак.

Я проглотила ругательство.

— Хотя бы для разнообразия вы способны ответить так чтобы после ваших слов не захотелось разбить посуду о...

Нет, «о вашу голову» договаривать не стоило. Если уж тренироваться в сдержанности, начинать следовало прямо сейчас.

— Способен.

Я моргнула — ответ оказался неожиданным.

— Но не стану. Я умею утешать, — он едва заметно улыбнулся, — дев в беде. Сглаживать углы, умалчивать о неприятном, называть опасное незначительным а постыдное — вынужденным. Мог бы сделать так, что на несколько минут вы почувствовали бы себя лучше...

— И посуда осталась бы цела, — вставила я.

— Только вы не барышня, которую следует усадить в кресло, напоить сладким чаем и уверить, что все как-нибудь устроится. Вы хотите сохранить дом, дело и себя. Утешения в этом не помогут. Предупреждение — возможно. И если выбирать между тем, чтобы говорить долго, приятно и бесполезно или неприятно, но с пользой — вы достаточно умны, чтобы предпочесть инструмент украшению

Подобрать слова удалось не сразу.

— Простите, это сейчас было оскорбление или комплимент?

— Констатация факта. Вы способны понимать неприятные обстоятельства и действовать, если вам дать точные сведения.

— Спасибо, — сказала я. — Наверное.

— Не за что. Я принял ставку не потому, что она имела силу — вы могли спустить с лестницы любого, кто оказался бы на моем месте, и меня в том числе. Ваш муж сделал то, что сделал, при свидетелях. Я мог бы его остановить, но тоже сделал то, что сделал. И он и я вели свою игру, в которой вы оказались лишь картой. И завтра вы не должны меня оправдывать.

Если до сих пор у меня и появлялось — на миг, исключительно от усталости — желание его оправдывать, сейчас оно улетучилось окончательно. Я зло рассмеялась.

— Не беспокойтесь. Такое мне точно не грозит.

— Замечательно. Значит вы не будете выглядеть женщиной, которая заранее нашла защитника и теперь выгораживает его перед церковным судом.

Твою ж...

— А что грозит вам? — вылетело у меня прежде, чем я успела прикусить язык.

— Значительно меньше, чем вам.

— Как честно, — фыркнула я.

— Вы просили ответа, после которого не захочется бить посуду. Я не обещал, что он понравится.

— Мне по-прежнему хочется бить посуду.

— Постарайтесь справиться с этим желанием.

— Да что ж это такое, — не удержалась я. — Посуду бить нельзя, Ветрова козлом называть нельзя, вас оправдывать...

— Оправдывать и обвинять тоже.

— Отлично. А дышать мне можно, или и это только по вашему разрешению?

— Дышать можно, очень желательно — ровно.

Я тут же обнаружила, что задохнулась от возмущения.

— Дарья Захаровна, завтра вам придется говорить не о моей вине. И не о вашей обиде. Вам придется не отходить от единственной простой мысли: муж не имел права превращать честь своей жены в предмет карточного торга. Все остальное — шум.

— Даже вы?

— Особенно я.

Я уже открыла рот, чтобы сказать про редкую самокритичность столичных ревизоров, но слово, которое свербило в подкорке наконец прорвалось к коре.

Приданое.

Если шубка, которую отец-купец справил дочери-невесте стоит по словам тетки «отрубков восемьсот», то сколько могло стоить мое приданое?

И сколько из этого успел промотать муж? В прошении со слов Громова я написала «расточил мое приданое» — но действительно ли от него ничего не осталось?

— Давайте оставим вашу, несомненно прекрасную особу и вернемся к моему супругу.

Громов приподнял бровь.

— Как его кредитор, вы уже требовали описи его имущества.

Он моргнул, кажется, поворот разговора оказался неожиданным.

— Требовал. Иначе стали бы говорить, что вся игра была затеяна только ради вас.

Я — точно не стала бы, ни в жизнь не поверю, чтобы этого каменюку впечатлили мои прекрасные глаза.

— Осталось ли среди имущества Ветрова что-то из моего приданого?

— А что было в вашем приданом?

Да чтоб я сама знала! Что там тетка говорила?

— Ожерелье жемчужное... вроде бы. Или серьги.

Он посмотрел на меня еще изумленнее, потом кивнул.

— Ах да. После проруби вы помните не все. Возможно, среди того, что было описано как имущество Ветрова, осталось ваше. Но предположения к делу не подошьешь, Дарья Захаровна. Дайте мне роспись приданого, и мы вместе сравним ее с описью имущества вашего супруга. Если среди имущества остались вещи из вашего приданого, я не стану включать их в свое взыскание. Я не господин Ветров, чтобы считать чужое своим.

Прозвучало почти прилично. Если забыть, что минуту назад он сам признал: в чужой игре я была картой и для него тоже.

— А смогу я потребовать от Ветрова вернуть то, что он промотал, в денежном эквиваленте?

— Потребовать можете. Через суд.

— Консistorии?

— Гражданский. Церковь не занимается имущественными делами. Вы можете подать на вашего супруга в суд. Если у него не обнаружится расписки, что вы полностью доверяете ему распоряжение вашим имуществом.

В том, что такая расписка — настоящая или поддельная — существует, я была почти уверена. Но все равно попытаться стоило.

— Спасибо за консультацию, Петр Алексеевич. — кивнула я. — Постараюсь воспользоваться ей в полной мере.

— Не за что, Дарья Захаровна. — он поклонился. Почему-то помедлил. — Вы позволите взять с собой десерт?

— Разумеется, — кивнула я.

Кажется, vareжкам снова придется ждать. Сегодня вечером мне предстояло перерыть учетную книгу отца, а завтра — с самого утра доказывать церковному суду, что святость брака опозорила не я.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.